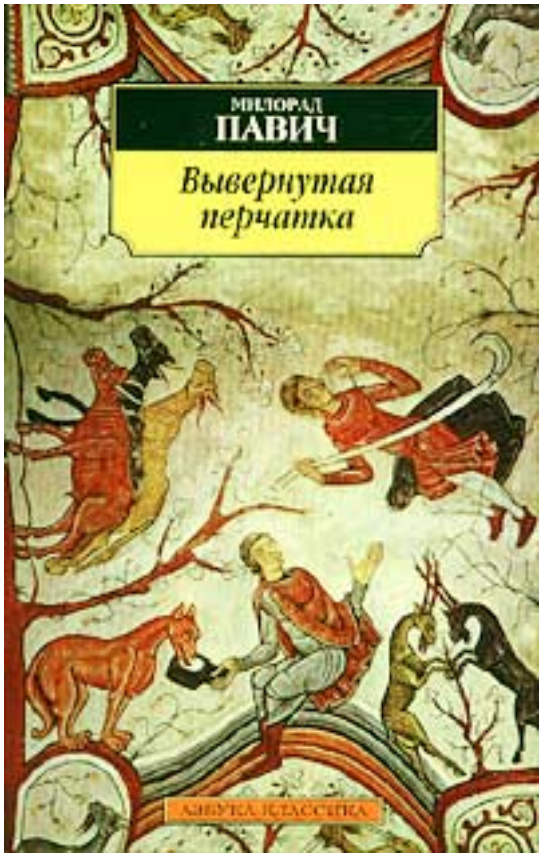
МИЛОРАД
ПАВИЧ
Вывернутая перчатка
АЗБУКА-КЛАССИКА

Милорад Павич
Вывернутая перчатка

Paco
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=159047
Вывернутая перчатка: Рассказы / Милорад Павич: Азбука-классика; СПб; 2004
ISBN 5-352-00192-X
Оригинал: МилорадПавиh, “Извpнута рукавица”
Перевод:
Лариса Савельева

Аннотация

В книге рассказов Милорада Павича, одного из самых ярких представителей современной прозы, на сюжеты, относящиеся к различным эпохам, идет ли речь о постройке мечети или чтении Пушкина, об охоте на волков и реконструкции древнего города или о человеке, который любил есть на завтрак колбаски, – падает отсвет трансцендентного, потустороннего. В соединении юмора и магии этих фантастических притч рождается метафизическая вселенная Павича.

Содержание

сб. ВЫВЕРНУТАЯ ПЕРЧАТКА 4
СМЕРТЬ СВЯТОГО САВЫ, 4
ВЫВЕРНУТАЯ ПЕРЧАТКА 6
ОХОТА 13
Конец ознакомительного фрагмента. 22

Павич Милорад
ВЫВЕРНУТАЯ ПЕРЧАТКА

сб. ВЫВЕРНУТАЯ ПЕРЧАТКА

СМЕРТЬ СВЯТОГО САВЫ, ИЛИ НЕВИДИМАЯ СТОРОНА ЛУНЫ

Говорят, что у святого Савы, сербского поэта и престолонаследника королевского рода Неманичей, вместо души была Луна. Он чувствовал, как Луна в нем впитывает чужой свет и вызывает приливы и отливы. Когда в 1235 году святой Сава умер, он забыл все свои стихи и каждую строку любого из житий, которые он когда-либо написал. Он знал, что так и должно быть, потому что все это, как и его тело, принадлежит Земле. В прошлом его молитвы, чувства и стихи были заменой ему самому. Подобно посланиям, они были отправлены с Земли в то Место, где он оказался теперь сам, и потому потеряли смысл. Вместо собственных слов, посланных сюда, теперь он присутствовал здесь лично. Теперь он стал тем же, что молитвы или стихи. И теперь их слова могли служить только другим, тем, кто остался на Земле. Все же знал он и еще кое-что – он знал, что душа – это Луна. И она имеет недоступную сторону, которую никогда не увидишь с того места, где находишься. Поэтому, пребывая на Земле, он никогда не мог увидеть снизу эту недоступную сторону своей души, подобно тому как была не видна ему и другая сторона Луны. Однако, расставшись с телом и Землей, эту свою сторону душа сохраняла невидимой, – правда, она была видна с Земли, где души больше не было. И, думая так, он был спокоен. Он знал, что был и будет любим всегда – и за много веков до своего рождения, и во веки веков будущего.

Но в памяти у него вдруг всплыла одна фраза. Точнее, она не всплыла в памяти, потому что и воспоминания, и предчувствия были равнозначны, она не возникла, она просто существовала здесь, и ему было ясно, что это не он ее выдумал. Да и не мог бы он выдумать, ведь здесь он больше не думал. Теперь он все знал, и у него не было потребности думать, как некогда. Итак, невыдуманная фраза была здесь. И звучала она так:

«Лишь о прошлом можно с уверенностью сказать, что оно вечно. Будущее же еще только должно стать таким».

Но это было еще не все. Фраза явилась ему не в языковом выражении, как она некогда выглядела на Земле. Она явилась ему в виде зверя. У этой фразы-зверя был белый мех, и, когда ей надо было почесаться, она делала это, направив один из своих пяти взглядов на то место, где ощущала зуд. Слово *прошлое* выражалось на ее теле большой головой с глазом на подбородке. Как раз в этот момент голова исторгала изо рта только что съеденную человеческую руку, а рука эта воплощала слово *вечно*. Слову *будущее* соответствовал хвост животного, на котором можно было рассмотреть вторую, гораздо меньшую и очень красивую женскую голову, закутанную, как платком, собственными волосами и оттого лишенную возможности говорить. Две передние, старшие, ноги вели животное в одну сторону – за большой головой, а две задние, младшие, ноги – в противоположную, за снабженным головой женским хвостом. Эти четыре ноги были четырьмя глаголами, использованными в фразе, и каждая из них воняла по-своему. У зверя было пять глаз, и каждый из них глядел радостно по собственной причине. Несмотря ни на что, Сава, который в своей жизни был молодым всего три года, сразу понял все.

Это была слово в слово его собственная фраза, написанная им в 1189 году в одном письме. Разумеется, тогда она еще не приняла облик зверя, она существовала среди других фраз, заключенная в язык, а не в меховую шкуру. То письмо, однако, давным-давно сгорело, и лишь один человек, тот самый, кому оно было послано, лысый, безбородый и безусый, с волосами, пучками торчавшими из ушей и свидетельствовавшими о том, что на самом деле он рыжий, все еще помнил эту фразу. А потом получилось так, что тот человек, совсем случайно, увидел того, кого видеть нельзя. Его связали и аккуратно, так чтобы не повредить глаза, вырезали в его веках отверстия правильной формы. С тех пор он смотрел всегда, даже когда глаза его были закрыты, и спал он, уставившись в свой сон, освещенный светом яви. В тот момент, когда наказание было исполнено, человек этот забыл все, в том числе и письмо, и фразу из письма, и она тогда вернулась к тому, кто ее составил. Как возвращается малая часть вселенной; фраза была мертва для престолонаследника и поэта, пока жила на Земле, а теперь, наоборот, оказалась мертва там, потому что на Земле ее никто больше не помнил, и она добралась до него в облике зверя.

Так святой Сава начал поджидать здесь встречи со своими стихами в виде животных, фразами в виде зверей, одну за другой, и так он теперь знал, что каждая книга – вдова. И так снова восстанавливалось что-то похожее на молитву, и снова отправлялись в путь послания-стихи, правда теперь в виде зверей. И все это двигалось в противоположном направлении, он не посылал их, как раньше, с Земли по направлению к Месту, теперь он на Месте ждал их, посланных с Земли в обличий животных. Он больше не рождал их в языке, чтобы отправить потом в виде послания Небу, нет, его стихи умирали на Земле, для того чтобы стать посланием в облике зверя и снова найти его, словно в день последнего суда, и вылизать его воспоминания.

Благодаря этому он смог наконец-то одновременно увидеть и видимую, и невидимую стороны Луны, которую носил в себе вместо души.

Так будущее уже было вечным, а прошлое еще только должно было стать таким.

ВЫВЕРНУТАЯ ПЕРЧАТКА

В тот осенний полдень 1810 года Доситей [1] собирался подстричься ножом, глядя в перстень, в котором вместо камня было выпуклое зеркальце. Но не нашел перчатку. А голой рукой он никогда не дотрагивался до волос. Перчатка, которую он искал, была красивой – белой на зеленой шелковой подкладке. Он осмотрел всю комнату, приподнял полы своего кафтана, но перчатки нигде не было. Тогда он подумал, что, так же как с помощью одной птицы охотятся на другую птицу или с помощью борзой на волка, можно с помощью одной мысли охотиться на другую мысль… Доситей спустился в сад к молодой пестрой корове (подарок воеводы и художника Петра Николаевича Мольера), снял с ее шеи колокольчик и по-пастушьи надоил в него молока. Поднимаясь по ступеням, он думал о том, что все виды голода в нем растратились и обессилели, а все виды жажды помолодели, взяли большую волю и сделались еще опаснее, чем были. Так он вошел в комнату, где его ученик Алекса делал письменное задание. Рот у мальчика был маленьким, как глаз, и он зажмуривал его, когда глаза смотрели. Учитель протянул ему колокольчик с молоком, а другой рукой закрыл то, что он писал. Пока мальчик пил, Доситей поддерживал колокольчик и время от времени дотрагивался до его губ пальцем. «Пот в очи, а слезы в уста», – думал он при этом, а потом вслух сказал:

– Словеснейший молодой господин мой Алексие, свет полон тайн, а тайны растянуты между нами, как охотничьи силки, расставлены, как капканы. И каждый из них предназначен для своего зверя. Сетью, рассчитанной на льва, мышь не поймаешь.

И, подав ему «Физику», изданную в Будиме в 1801 году, велел читать. Мальчик взялся читать, но думал он совсем о другом, о том, что учитель обещал отвезти его по Дунаю в Пешту, где в дождь капли вовсе не падают вниз, в воду, а наоборот – поднимаются снизу вверх из воды, где венгры в театре играют одну постановку об отце Алексы, Господаре, и где в театре можно видеть его, предстающего героем. Мальчику все это было не вполне ясно. «Неужели отец сам ездит в Пешту к венграм играть самого себя в театре, покидая Белград и войну с турками, и здесь его кто-то заменяет, опоясавшись его оружием и превращаясь на это время в Господаря? Или же там, у венгров, кто-то другой берется за отцово оружие и играет его жизнь, пока отец здесь на один вечер перестает быть вождем? И как обстоит дело здесь в то время, пока там играют, – по-прежнему ли его слушаются и боятся? Но кто может обогнать свою мысль?» – думал Алекса, читая в «Физике» про совершенно другие вещи:

«Если б наши родители и старики хоть немного понимали в физике, не пришлось бы нам выслушивать, что кто-то на Богоявление видел, как вода превратилась в вино, а другие следили за чугунками, которые сами собой перемещались из Видина в Кладово, и не рассказывали бы они нам, как один из них встретился с волшебницей, призраком или вампиром, который тащил за собой простыню… Все эти суеверия, которые бродят среди нас, суть не что иное, как явственный и вечный знак того, на сколь низкой ступени просвещения мы стоим…»

На этой мысли мальчик остановился, посмотрел на учителя, который чесал ладонь об угол стола, и сказал ему:

– Когда же, учитель, искореним мы суеверия в народе нашем? – Он был уверен, что так и нужно сказать, он знал, что учитель похвалит его за такие слова; учитель его к этому приучил. И сейчас Алекса ждал обычного в таких случаях ответа. Взгляды мальчика сверкали в полумраке, его слепая улыбка старела быстрее, чем его глаза, и Доситей подумал, что душа человеческая действительно носит в себе радость и здоровье, а тело – скорбь и

[1] *Доситей Обрадович* (1739 – 1811) – самый значительный автор сербского Просвещения.

ум, что лица его знакомых легче всего было бы сравнить с пищей в тарелках и мисках, что великореметский игумен Софроние Лазаревич лицом похож на приготовленную в котелке капусту с копчеными ребрами, а образ госпожи Павкович из Земуна выглядит совершенно так же, как блюдо с вареными грибами в уксусе… А сказал он, поглаживая затылок ученика, следующее:

– Мой милый Алекса, дни и годы идут к концу, тело слабеет, а душе все еще чего-то хочется…

Но мальчик сидел удивленный, он ждал другого. Он смотрел прямо на ямочку в подбородке учителя, которая была похожа на след выколотого глаза.

Тут снаружи кто-то застучал кольцом в дверь, и слуга принес Доситею только что доставленную с того берега, из Земуна, посылку: два аппетитных, еще теплых пшеничных каравая и бочонок, который Доситей послал за Дунай пустым и который получил теперь обратно наполненным вином из Крушевца, а также круглую коробку из австрийской столицы, надушенную, как барышня. Из коробки они с Алексой достали необычный новый предмет, вещь невиданную еще в этих краях – черную глубокую шляпу из собачьей шерсти с тесемками, чтобы завязывать их под подбородком. Это головной убор, как было написано в приложенном к нему письме, какие сейчас в Вене, столице Австрийской империи, носят по новой моде.

Вертя шляпу в руках, Доситей заметил написанные на завязке слова: «Твое прошлое скрывается в твоем молчании, настоящее – в твоей речи, а будущее – в твоих ошибочных шагах».

– Что это значит? – спросил мальчик, а Доситей, укладывая удивительную вещь обратно в коробку, ответил:

– Первое, что я имею вам сообщить, юный господин Алекса, состоит в следующем: человек, пусть он хоть сотню раз держал в руках какой-либо предмет или вещество, всегда, с каждым новым рассмотрением, может найти в нем нечто новое, доселе не замеченное…

А думал он при этом: «Мой пост для тебя – пеленки, дитя мое».

На заре, когда пахнет порохом и грязью, Доситей уставился в свои сапоги, как в колодец, и увидел, что они без дна. Натянул их на ноги и отправился к укромному заливу, где его должно было взять на борт судно, шедшее в Кладово. Два экипажа, один тяжелый, с юным господином Алексой и его слугами, второй легкий со скамьей, представлявшей собой крышку ящика, где находился багаж учителя, летели вдоль кромки воды, а Алекса, наблюдая эту гонку, думал: у грошей скорость больше, чем у коней.

Стоило им остановиться, как засияло солнце, они бросили под грушу овчины и уселись ждать судно. Доситей снял шубу и новую шляпу, повесил их на ветки и принялся расхаживать вдоль берега, немного прихрамывая, словно его ноги поочередно произносили: «Суботица, Сегедин, Суботица, Сегедин». А лодочники и возчики уставились на невиданный черный предмет, висевший на дереве, не зная, что это шляпа из собачьей шерсти, только что прибывшая из императорского города Вены и преодолевшая в пути водные пространства, границы и поля сражений. Судно с веслами, обмотанными рубашками, неслышно пристало к берегу, и Доситея торопливо приняли на борт, передав через поручни его шубу и саквояж с вещами. Алекса махал ему из экипажа, все еще ощущая на губах поцелуй учителя. А на берегу, на ветке груши, осталась висеть забытая черная шляпа с развевающимися на ветру завязками, невероятная вещь, про которую никто больше не знал ни чья она, ни как сюда попала, ни что собой представляет.

Только кони проезжающих мимо шарахались от нее.

И вот с того дня начались приключения этой вещи. Крестьянки из Вишницы говорили, что это сковорода или медный котелок, а рыбаки клялись, что собственными глазами видели, как эта «сковорода» сожрала больную птицу с мертвыми костями. В день святого

Вида, когда вино входит в виноград, «сковорода» удушила двух девочек, а когда голуби начали громко кричать, что пора сажать лук, какой-то незнакомец нахлобучил «сковороду» на голову и ушел. Его нашли задушенным хвостом «сковороды», а она сама собой снова оказалась на прежнем месте, на ветке, словно какое-то черное животное. Зимние ветра со временем потрепали ее, и она стала выглядеть еще кровожаднее. Пробовали поджигать под ней табак, чтобы дым заставил ее исчезнуть, – известно же, что табак изгоняет нечистую силу, – но не помогло. Солдатам, которые пытались в нее стрелять, являлись потом среди соцветий распустившейся бузины маленькие чертенята в облике девочек с тремя глазами, и лишь только птицы иволги, которые питаются дымом яблони, не пугались шляпы и садились на ветки ее груши…

Как-то утром, весной 1811 года, Алекса подошел к Доситею и сказал ему:

– Учитель, каких только суеверий не вызывает та самая ваша венская шляпа из собачьей шерсти – пожалуй, гораздо больше, чем волшебниц и оборотней во всех трех томах «Физики» Стойковича. Зачем, учитель, вы позволяете, чтобы из-за этой шляпы народ впадал в суеверие и непросвещенные люди еще больше погрязали в предрассудках?

За стеной дома кто-то играл на флейте, Доситей поглаживал ухо своего питомца, и ему совсем не хотелось обсуждать черную шляпу и белотелых валахинь, которые колдуют вокруг нее, пытаясь добросить ягоду до другого берега реки, чтобы волшебным образом появился мост. Но он сказал:

– Еще раз, мой юный господин Алекса, имею сообщить вам относительно этого следующее: человек, пусть он хоть сотню раз держал в руках какой-либо предмет или вещество, всегда с каждым новым рассмотрением может найти в нем нечто новое, доселе не замеченное…

– Но разве, – отвечал Алекса, не удовлетворенный ответом, – разве ваша черная шляпа с завязками стала каким-то другим веществом, какой-то новой или другой вещью, отличающейся от той, которую вы в прошлом году повесили на грушу? За тем исключением, разумеется, что сейчас о ней все только и говорят…

– Удар, который слышен, никогда не бывает сильным, мой милый Алекса, – попытался Доситей еще раз умилостивить своего ученика, но тот не сдавался. И Доситей, глядя на него, думал, что не знает способа объяснить ему, что одна вещь – это не что иное, как просто грех какой-то другой вещи. И он не решился ему это сказать. А Алекса молчал, притом что слышна была лишь кора его молчания. Остальное, а именно угрозу под этой корой, учитель должен был лишь угадывать. И его захлестнула боль, похожая на волну с живой рыбой внутри.

Стоял март, Доситей видел во сне свое путешествие к русским, видел прошлогоднее Кладово, куда его послал Господарь, чтобы он прошел по улице, на которой двенадцать домов, каждый с двадцатью шестью окнами и четырьмя дверями. Просыпаясь с отпечатком пуговицы от наволочки на щеке, он думал о том, что бежать против Запада – значит потерять победу в битве, а бежать против Востока – значит потерять голову. Причем речь шла не только о его битве и его голове, но и о битве и голове Господаря, отца Алексы. И тут, в момент пробуждения, лицо Господаря явилось Доситею в виде миски пересоленного кабаньего мяса…

Стояло время, когда шелушится кожа и смердят уши. Ученик явился с новостью, что вокруг черной шляпы по субботам собирается множество народа и знахари, они водят там «про себя» немые хороводы и плюют друг другу в уши. Весь люд от Вишницы до устья Савы ходит с заплеванными ушами. Настал крайний срок, чтобы учитель их разуверил, открыл им глаза здравого разума, чтобы тот воцарился в их головах, показал им, что «сковорода» эта не только не может никого удушить, но и просто-напросто представляет собой обыкновенную шляпу, которую надевают на голову. Больше тянуть было нельзя.

И неожиданно мальчик, который стал уже почти юношей, заговорил языком, которым разговаривали с ним офицеры во время занятий на плацу.

– Учитель, всегда нужно знать, куда попал, если, стреляя в цель, промахнулся! – сказал он твердо и показал на книги Доситея, аккуратно расставленные на подоконнике.

Доситей вздрогнул от неожиданности и подумал: одну ногу вытащил, а вторая увязла, а вслух приказал подать для себя и Алексы двуколку. Деваться ему было некуда.

На груше они нашли черную ворсистую вещь, принадлежавшую Доситею, она висела на ветке, усталая и выгоревшая от солнца и мороза, рычала на ветру, задувавшем из Футога, и махала хвостом, испещренным мелкими буквами. Под грушевым деревом была прошлогодняя могила того человека, которого «сковорода» этим хвостом удавила. На камне ниже, под его именем, было написано:

Словно я вчера лег сюда.
1810

А вокруг могилы и «сковороды» народу собралась целая толпа, словно в церкви, и для защиты от чар все держали во рту горячую траву.

Учитель вышел из двуколки, чувствуя на себе неграмотные взгляды. Окруженный свитой Алекса двинулся за ним с прекрасными, горящими как угли глазами, словно гоня перед собой сто жизней. И тогда Доситей подумал:

«Чудо, которого человек за свой долгий век не дождется, – стать другим, а при этом остаться тем же, кем был и кем больше не являешься. Но раз я пошел таким путем, надо гнать себя вперед, хочется мне теперь этого или нет».

И медленным шагом приблизился к дереву, сорвал с него черную шляпу с завязками и надел ее на голову. Его действия сопровождались энергичным выплевыванием горячей травы из сотни глоток.

Потом, сквозь запах плевков толпы, утратившей дар речи, Доситей медленно подошел к своей коляске и под немым взглядом Алексы забрался в нее и поехал обратно в город.

Когда перед домом Доситея слуги распахнули дверцу двуколки, оказалось, что он, задушенный, развалившись, лежит на сиденье, в то время как его черный ворсистый головной убор вывалился наружу и, подхваченный ветром, стремительно катится вдоль белградских улиц, подскакивая на перекрестках и виляя испещренным буквами хвостом.

*

Потом, сквозь запах плевков утратившей дар речи толпы, Доситей медленно подошел к своей коляске и под немым взглядом Алексы забрался в нее и поехал обратно в город.

И медленным шагом приблизился к дереву, сорвал с него черную шляпу с завязками и надел ее на голову. Его действия сопровождались энергичным выплевыванием горячей травы из сотни глоток.

И тогда Доситей подумал: «Чудо, которого человек за свой долгий век не дождется, – стать другим, а при этом остаться тем же, кем был и кем больше не являешься, вроде вывернутой перчатки. Но раз я пошел таким путем, надо тащить вперед, хочется мне теперь этого или нет. Мудрецы обычно незаметны, потому что они знают, что мудрость следует скрывать любой ценой, словно это порок или деньги».

Учитель вышел из двуколки, чувствуя на себе неграмотные взгляды. Окруженный свитой Алекса двинулся за ним с прекрасными, горящими как угли глазами, словно гоня перед собой сто жизней.

А вокруг могилы и «сковороды» народу собралась целая толпа, словно в церкви, и для защиты от чар все держали во рту горячую траву.

На камне ниже, под его именем, было написано:

Словно я вчера лег сюда.
1810

На груше они нашли черную ворсистую вещь, принадлежавшую Доситею, она висела на ветке, усталая и выгоревшая от солнца и мороза, рычала на ветру, задувавшем из Хопова, и махала хвостом, испещренным мелкими буквами. Под грушевым деревом была прошлогодняя могила того человека, которого «сковорода» этим хвостом удавила.

Доситей вздрогнул от неожиданности и подумал, что содержание любой вещи – это ненависть, а форма – любовь, и приказал подать экипаж для себя и Алексы. Деваться ему было некуда.

И неожиданно мальчик, который стал уже почти юношей, заговорил языком, которым разговаривали с ним офицеры во время занятий на плацу.

– Учитель, всегда нужно знать, куда попал, если, стреляя в цель, промахнулся! – сказал он твердо и показал на книги Доситея, аккуратно расставленные на подоконнике.

– Настало крайнее время, учитель, разуверить народ, открыть им глаза здравого разума, чтобы тот воцарился в их головах, показать им, что «сковорода» эта не только не может никого удушить, но и просто-напросто представляет собой обыкновенную шляпу, которую надевают на голову…

Стоял март, Доситей видел во сне свое путешествие к русским, видел прошлогоднее Кладово и мог наизусть просвистеть весь свой сон. Просыпаясь, он думал о том, что бежать против Запада – значит потерять победу в гонке, а бежать против Востока – значит потерять голову. Он чувствовал, как время расширяется. Если достаточно долго бежать назад, попадешь за пределы времени. И его захлестнула боль, похожая на волну с живой рыбой внутри. Остальное, а именно угрозу, учитель лишь угадывал. А Алекса молчал, причем слышна была только кора этого молчания. И не решился сказать ему. Доситей думал, глядя на мальчика, что нет способа объяснить ему, что мы просто узловатая и неровная ткань, произведенная только для того, чтобы с ткацкого станка отбросить на стену заранее предусмотренную тень.

– Но разве ваша черная шляпа с завязками стала каким-то другим веществом, какой-то новой или другой вещью, отличающейся от той, что вы в прошлом году повесили на грушу? За исключением того, что сейчас все только о ней и говорят.

За стеной дома кто-то играл на флейте, Доситей поглаживал ухо своего питомца, и ему совсем не хотелось обсуждать черную шляпу и белотелых валахинь, которые колдуют вокруг нее, пытаясь добросить ягоду до другого берега реки, чтобы волшебным образом появился мост. У него было одним ухом больше, и этим третьим ухом он не слышал звук до. И он с содроганием думал, что будет, если отец мальчика застанет его вот так, с пальцем в ухе ребенка, когда тот слушает музыку, или во рту, когда он пьет. Что сделает с ним отец Алексы – убьет на месте?

Как-то утром, весной 1811 года, Алекса подошел к Доситею и сказал ему:

– Солдаты, которые пытались в нее стрелять, видели потом между соцветиями распустившейся бузины маленьких чертенят. Пробовали под ней поджигать табак, чтобы дым заставил ее исчезнуть, но не помогло. Был найден человек, задушенный хвостом этой «сковороды», после чего она сама собой снова оказалась на прежнем месте, на ветке, словно какое-то черное животное. В день святого Вида, когда вино входит в виноград, «сковорода» удушила двух девочек. Пономарь из церкви Святого Розария утверждал, что по ночам «сковорода» превращается в черную звезду, что она залетает в дома и церкви и от соприкосновения с ее светом гаснут свечи и лампады. Воеводы, которые весной обычно одаривают двадцаткой то дерево, которое первым распустит листья, были уверены, что «сковорода» – это вылитый святой Трифун, который топором отрубил себе нос, а рыбаки клялись, что соб-

ственными ушами слышали, как «сковорода» по ночам клекочет: «Того, кто жаждет быть убитым отцом, убьет сын!»

И вот с того дня начались приключения этой вещи.

Только кони проезжающих мимо шарахались от нее.

Алекса ему махал из экипажа, все еще ощущая на губах учителев поцелуй, привыкший читать с губ, а на берегу, на ветке груши, осталась висеть забытая черная шляпа с развевающимися на ветру завязками, невероятная вещь, про которую никто больше не знал ни чья она, ни как сюда попала, ни что она собой представляет.

Судно с веслами, обмотанными рубашками, неслышно пристало к берегу, и Доситея торопливо приняли на борт, передав ему через поручни шубу и саквояж с вещами. Доситей снял шубу и новую шляпу, повесил на ветки и принялся расхаживать вдоль берега. Два экипажа, один тяжелый, с юным господином Алексой, и второй легкий, со скамьей, представлявшей собой крышку ящика, где находился багаж учителя, летели вдоль воды, а Алекса, наблюдая эту гонку, думал: «У грошей скорость больше, чем у коней».

На заре, когда пахнет порохом и грязью, Доситей уставился в свои сапоги, как в колодец, и увидел, что они без дна. Натянул их на ноги и отправился к укромному заливу, где их должно было взять на борт судно, шедшее в Кладово.

– Первое, что я имею вам сообщить, юный господин Алекса, состоит в следующем: человек, пусть он хоть сотню раз держал в руках какой-либо предмет или вещество, всегда с каждым новым рассмотрением может найти в нем нечто новое, доселе не замеченное…

– Что это значит? – спросил мальчик, а Доситей, укладывая удивительную вещь обратно в коробку, ответил:

– Твое прошлое скрывается в твоем молчании, настоящее в твоей речи, а будущее в твоих ошибочных шагах…

Тут снаружи кто-то застучал кольцом в дверь, и слуга принес Доситею только что доставленную с того берега, из Земуна, посылку: от госпожи Павкович два аппетитных, еще теплых пшеничных каравая и бочонок, который Доситей послал за Дунай пустым и который теперь получил обратно наполненным вином из Крушедола, а кроме того, из австрийской столицы круглую коробку, надушенную, как барышня. Из коробки они с Алексой достали необычный новый предмет, вещь невиданную еще в этих краях – черную глубокую шляпу из собачьей шерсти с тесемками, чтобы завязывать их под подбородком.

– Когда же, учитель, искореним мы эти суеверия в народе нашем?

Тут мальчик остановился, посмотрел на учителя, который чесал ладонь об угол стола, и сказал Доситею с улыбкой, которая молодела быстрее, чем глаза:

– Смотри! Даль ночная выглядит сейчас как прошлое, доступное не ноге, лишь воспоминаниям. А мертвые помнят всю свою жизнь, не помнят они только час и причину смерти…

И учитель поэтому знал, что и мальчик знает. Потому что в противном случае как бы он мог говорить так, как его не учили, да еще зная при этом, что за такие слова и мысли его не похвалят? «Значит, он меня умышленно загонял под „сковороду"», – сделал вывод Доситей. И не смог разгадать почему. Но именно поэтому он приблизил свое ухо к губам мальчика, и тот изо всех сил плюнул ему в ухо, почти не прерывая при этом чтения:

«Если б наши родители и старики хоть немного понимали в физике, не пришлось бы нам выслушивать, что кто-то на Богоявление видел, как вода превратилась в вино, а другие следили за чугунками, которые сами собой перемещались из Видина в Кладово, не рассказывали бы они нам, как один из них встретился с волшебницей, призраком или вампиром, который тащил за собой простыню, что они и нас могли видеть… Все эти суеверия, которые бродят среди нас, суть не что иное, как явственный и вечный знак того, на сколь низкой ступени просвещения мы стоим…»

Алекса читал, но думал он совсем о другом. Но кто может обогнать свою мысль? Пока это там играют – не перестают ли его слушаться и бояться здесь? Мальчику все это было не вполне ясно, например, неужели отец сам ездит в Пешту к венграм играть самого себя в театре, покидая Белград и войну с турками, и здесь его кто-то заменяет, опоясавшись его оружием. И Алекса вовсе не хотел ехать с учителем за Дунай, он хотел, пока отец и Господарь там, в Пеште, играет героя, здесь, в Белграде, опоясаться отцовским оружием в тот самый час, как только отец перестает быть вождем…

– Словеснейший молодой господин мой Алексие, сетью, рассчитанной на льва, мышь не поймаешь, – сказал на это учитель. – Свет полон тайн, а тайны растянуты между нами, как охотничьи силки. И каждый из них предназначен для своего зверя…

И так мальчик знал, что и учитель знает. И понял, что он опасен, потому что читает мысли губой с губы. И решил от него избавиться. Загнать его под «сковороду». Пусть увидит, куда ведет его путь.

Доситей протянул мальчику колокольчик с молоком, а другой рукой закрыл то, что он писал. Пока он пил, Доситей поддерживал колокольчик и время от времени дотрагивался до его губ пальцем. До этих прекрасных, еще не лишившихся невинности губ. Он прощался. Но он чувствовал под пальцем не губы Алексы. Он чувствовал губы его отца. «И через тепло молока Бог говорит», – думал Доситей, входя в комнату, где его ученик Алекса делал письменное задание. Поднимаясь по ступеням, он, грея руки о колокольчик с молоком, думал о том, что Бог беседует с избранными устами в уста, а уши исключены из этого общения. И что поэтому у него нет слуха. Задумавшись, он подошел к молодой пестрой корове (подарку воеводы и художника Петра Николаевича Мольера), снял с ее шеи колокольчик и по-пастушьи надоил в него молока. И решил, что, так же как с помощью одной птицы охотятся на другую птицу или с помощью борзой на волка, можно с помощью одной жизни охотиться на другую жизнь…

Потом он осмотрел всю комнату, приподнял полы своего кафтана, но перчатки нигде не обнаружил. Это была красивая белая перчатка, на зеленой шелковой подкладке. А голой рукой он никогда не дотрагивался до волос. И он нашел эту перчатку: она вывернулась наизнанку и, зеленая, затерялась на зеленом покрывале. Он натянул ее и в тот осенний день 1810 года, после полудня, подстригся ножом, глядя в перстень, в котором вместо камня было выпуклое зеркальце. Только под волосами, которые он стриг, в зеркале не было лица. Вместо лица там виднелась тарелка супа из рыбы.

ОХОТА

За осень мы принялись как за тарелку с остывшим супом. Рука, которой я ел в то время, сжимала всего только девять таких же точно, но только меньших рук. Они лежали, плененные, одна в другой, как русские матрешки. Школа в тот год не началась вовремя и потом еще долго медлила, никак не могла решиться. Я спрашивал самого себя, существует ли она по-прежнему, на том же месте, с растрескавшимися деревянными досками и картами континентов, такими большими, что географическое изображение Северной Америки не помещалось в классе на одной стене. Эта огромная карта под прямым углом переходила со стены на стену и висела сразу на двух больших гвоздях, так что паутина в углу напрямую связывала расположенные на карте города и реки. По этой паутине мы попадали из Нью-Йорка в Сан-Франциско кратчайшим путем и в два раза быстрее.

На дворе сменяли друг друга осенние месяцы, и каждый из них надвигался как какой-то огромный континент, как Новый Свет или Атлантида, которую ненадолго находишь, а потом опять теряешь навсегда, лишь задев взглядом и шагнув пару шагов по ее волосатому пепельно-серому брюху. Сентябрь, похожий на архипелаг, изрешетил все небо над нами и осыпался в собственные сумерки, и теперь мы даже не были уверены, был ли он вообще. Октябрь появился, как шхуна под белыми парусами, и каждое утро на его палубе я чувствовал себя Колумбом, который открывает новый мир и вспарывает носом своего судна один туман за другим, следуя курсом, ведущим в Америку. Однако там, на краю, нас ждала не Америка, а ноябрь. Он принес собственные дожди, и на углах улиц под ударами бокового ветра зонты резко выворачивались наизнанку, обращаясь в дьяволов с крыльями летучих мышей, что держат перед собой в когтях собственную мужскую или женскую душу, обучая ее двигаться по кривым невидимым траекториям. А потом и ноябрь, словно полярный берег, уплыл из нашего мира, переместился в воды нашей памяти и утонул в зеленом свете, из которого появился один мой школьный товарищ в широких штанах (казалось, на каждой ноге у него было по юбке) и сказал мне, что занятия в школе давно начались, что уроки идут уже несколько недель и что мои родители объяснили мое отсутствие справкой от врача.

Так я узнал, что болен. И что поэтому не хожу в школу. А потом, как-то утром, появился дядя Мила, чтобы увезти меня с собой, и на поясе у него висел огромный заяц, окровавленная морда которого тут же измазала наши ступеньки, а длинные мягкие уши тут же, на ходу, стерли с них капли крови.

– Когда в месяце появляется «рци»! – вместо приветствия произнес дядя в свойственной ему туманной манере выражаться, и мы в тот же день покинули Белград в двуколке, скрипом которой можно было порезать палец.

Как только мы съехали с моста через Дунай и поплыли по банатской пыли, я почувствовал, что у меня болит ладонь. Я держал в кармане сжатую в кулак левую руку и чувствовал, как боль растекается по ней двумя параллельными струйками. Тогда я разжал кулак и посмотрел на ладонь. По ней в сторону пальцев медленно ползли две красноватые бороздки, и я сравнил их с теми следами, которые оставляла наша повозка в густой пыли. Полосы на моей ладони и полосы, которые оставались на дороге за колесами двуколки, были одинаковыми. Нужно было только сжать кулак и навсегда сохранить в нем все: дядю с кнутом, меня и движущуюся упряжку лошадей.

– Куда ты меня везешь? – спросил я дядю.

– Никуда я не везу тебя, – отвечал он, – я твою болезнь везу за реку…

1.

Дядя сам был из Старчева, но, работая лесником, жил возле Караджорджева в доме рядом с большими лесами. Сколько себя помню, меня часто привозили в его дом подышать лесным воздухом. Дядя ходил с охотничьим ружьем с желтой кисточкой, потому что желтый цвет защищает от мертвецов, и мог выстрелом убить карпа, когда тот выпрыгивает из воды. Преследуя какую-нибудь дичь, дядя умел с первого взгляда отличить помет самца от помета самки, различал и человеческие испражнения. У него был такой резкий свист, что об него можно было наточить нож, но собак он нередко подзывал, просто громко пернув. И собаки его слушались. О земле он знал все и говорил, что земля все лечит. Однажды, когда змея ужалила его в кисть руки, он закопал руку в землю, да так и заночевал в лесу, лежа на животе с закопанной в землю рукой. Наутро он был совершенно здоров. Завшивевшую рубашку он клал в яму и засыпал землей, оставляя небольшое отверстие, в которое засовывал соломинку, – за полчаса все вши выползали наружу. Он называл это «цыганским секретом». К браконьерам был безжалостен, и люди, и собаки трепетали от одного только его имени и старались держаться от него подальше, а тетя часто говорила:

– Такому не попадайся! У него правая нога левой боится…

Он умел обезопасить себя и от собаки, и от волка одним ударом, безошибочно попадая носком сапога в нижнюю челюсть и ломая ее. Браконьеров доставлял в полицию в наручниках, но приковывал их не к своей руке, как это обычно делается, а к обутой в сапог ноге, так что арестованный должен был подстраиваться под его шаг, переступая руками. Пальцы его были огромными, толстенными, но почти без мяса, словно обглоданные мослы. Те два пальца, которыми шутники обычно изображают рога над чьей-нибудь головой, он называл «высоким» и «путеказом», будто это король и его вассал, большой палец у него был «артистом», а безымянный, женский, палец, на котором обычно носят украшения, стоял у него как королева между монархом и маленьким «пасынком». Перед ужином он, усталый после рабочего дня, мыл ноги. И я не отрываясь смотрел, как его король с королевой, придворными и престолонаследником моют и обслуживают эти ноги, словно какое-то божество. Обычно он плюхался возле печи на вытащенное из старого фиакра огромное кожаное сиденье, обшитое фарфоровыми пуговками, которые выпадали, как старые зубы, и трещали под ногой, как вишневые косточки. Сначала он мыл ноги в тазу, затем долго почесывал волосатые икры. Потом мы садились ужинать. Тетя резала ниткой молодой сыр и давала по куску каждому из нас, а дядя любил есть вилкой с острым ребром, которой, как ножом, можно резать пищу. Дядя был не способен долго оставаться в своей настоящей роли, то и дело он выбивался из нее и превращался в кого-то другого, того, кто делает огромное усилие для того, чтобы хотя бы до некоторой степени сохранить в нас уверенность, что он по-прежнему наш родственник, тот самый, каким был только что.

– Греки говорят, чистое вино пить… – продолжал он в тот вечер свою невнятную мысль, начатую еще в Белграде, и глядел на меня поверх блюда с кусками маринованного арбуза. Что-то в его глазах тихо пенилось, эти синие глаза были еще во вторнике, хотя уже подходила к концу среда, в них закипали прозрачные слезы, но, не успев пролиться из глаз, там же, в глазах, и растворялись. Я смотрел, как его глаза, неподвижно остановившись на мне, пьют собственные слезы, одну за другой и каждую до дна. Тут дядя обычно громко рыгал ушами, глаза его гасли, сначала левый, потом правый, слезы переставали набегать, и он продолжал свою бесконечную загадочную фразу:

– Когда «рци» в месяце нет…

В общем-то говорил он совсем не так, как обычно говорят люди. Он говорил длинными-предлинными фразами, и эти постоянно прерывающиеся фразы тянулись по

нескольку дней, его мысль строилась медленно, так же неспешно, как печь для выпечки хлеба, и для ее окончательного оформления требовалось несколько дней охоты. Кусочки таких фраз следовало собирать и помнить неделями, если кто-то хотел сложить из них одно целое.

– Вино всегда нужно пить с водой, – продолжал дядя свою мысль и вдруг посреди ужина замирал, словно окаменев. Он говорил, что чувствует, как его волосы седеют, проносил палец сквозь пламя свечи, заставлял тетю тянуть его за ухо; чего он только не предпринимал для того, чтобы остановить и прекратить побеление своих волос. И если это не помогало, он, беспомощно шевеля губами, пересчитывал один за другим поседевшие волоски. Заметив, что я сижу, не сводя с него глаз, дядя говорил мне:

– Ешь! – Это слово, как суп, проливалось у него изо рта на звуке «е».

Комнату, где мы сидели, разделяла хлебная печь, она выглядела как огромный горячий куб воздуха, обложенный кирпичом и оштукатуренный изнутри.

В доме всегда пахло огнями. Двумя. Один был в моей комнате, служившей гостиной, его поддерживали сухими кукурузными початками, и был он голубоватым и сытым, второй же, тот, что в хлебной печи, кормили соломой, и был он большим, вечно голодным и желтым, как кошачьи глаза. Ранним утром в нем сгорал последний язык ночи, проникший в комнату и в печь и оставшийся здесь отрезанным, после того как ночь отступила. Когда я в первый раз попал сюда и оказался меж двух огней, испуганные вещи были разбросаны в комнатах как попало и еще не были распределены во времени. На стене выделялись часы, красные, как вампир, а пить мне дали из чашки, покрытой бисерной вышивкой. Я помню полотняный пестрый лоскутный колпак, которым тетя накрывала горячие пироги и вареные яйца, помню немые глиняные колокола для сыра и звук хрустального колокольчика, которым звали обедать кошек и детей. Помню стеклянные ручки ножей и серебряные колпачки, которыми гасили свечи. Мы надевали на пальцы колечки из печеного теста и играли в освещенных солнцем комнатах, через которые росли тени посаженных перед домом лип. Около пяти часов мы ели пирожки, похожие на горячие треугольные подушки из полотна, и я обычно засовывал обе ноги в дядин сапог, хватал его за ушки и прыгал через глухую послеполуденную пору, пока меня не останавливал звук, всегда в одно и то же время доносившийся из осеннего холода в тепло комнаты. Чей-то слух вползал в мои пьяные уши. И я слушал, как некто неизвестный мне, исполняя музыку, возводит прекрасное строение. Здание из звуков росло, взлетало башнями, с недостижимой быстротой множилось число фронтонов, винтовые лестницы головокружительно устремлялись вверх, коридоры скакали галопом и, заворачивая на полном скаку в новое крыло здания, теряли по пути углы и дверные косяки. А потом две летящие навстречу друг другу лестницы с громким ревом сталкивались и рассыпались во все стороны, чем все дело и заканчивалось.

– Что это такое? – спросил я однажды. Мне показали висящий на стене рог и сказали, что этот звук доносится из такого рога. А еще позже показали и «Свиной носок» – человека, который дул в рог и был связан с моим слухом за много лет до того, как я впервые увидел его.

Как-то утром он вошел к нам во двор в огромном прозрачном шаре смрада, который окружал его всегда. На ногах он носил сапоги из красной грязи, на голове шапку из шерстяного носка, в волосах его всегда было полно мух, которые жужжали, запутавшись в густых курчавых колечках. Был он свинарем, по его лбу можно было убедиться в том, что из поколения в поколение его бороздили взглядами звезды; никто не впускал его к себе в дом из-за ужасающего запаха, которым он всегда был окружен. Тетя выносила ему во двор или ставила перед домом вино, но рука его не дотягивалась до рукопожатия через шар вони, в который он был заключен, так что и предложенное вино он достать не мог. Тогда тетя устанавливала стакан на окне и так предлагала ему выпить. В селе знали, что свинарь левым ухом может услышать правое, что он иногда рассказывает удивительные истории, но самые заниматель-

ные из них он доверяет только свиньям. Иногда тетя пыталась склонить его рассказать нам что-нибудь, предлагая ему ракию, но он не хотел и слышать об этом. Ставил невыпитый стакан обратно на окно и тут же уходил, иногда молча, обиженный, а иногда объясняя отказ тем, что «пьяного и кошка обидеть может…». Или просто смотрел сквозь свой смрад и молчал. Но от ракии все-таки не отказывался, брал стакан, наливал чуть-чуть на ладонь, растирал другой ладонью, потом громко хлопал ими и нюхал.

– Хороша! – говорил он и выпивал. Но рассказать ничего не соглашался.

Тетю он немного побаивался, но было известно, что она тайком посылала ему своего молока, чтобы он лечил им глаза.

Дело в том, что у тети было молоко. С тех пор как я ее помню, кофта на ее груди всегда была мокрой. Там расползались два пятна, и ей то и дело приходилось переодеваться. В то время в доме жили только мы одни – дядя, тетя и я, несмотря на то что у них были дети. Тетя трижды выходила замуж за дядю и трижды с ним разводилась, и от каждого из ее браков с одним и тем же мужчиной она имела по дочери. Одна из этих дочерей была уже взрослой, а две другие как раз сейчас пошли в школу в Панчево, где жила их родня. У них было одно и то же имя, и звали их Ана и Аница. По субботам, когда дядя привозил их из Панчева домой, они закидывали книги за печь, каждая хватала табуретку и садилась возле матери сосать. Таким манером они все три возмещали разлуку, в которой постоянно находились. Она кормила их с огромнейшим наслаждением, и ее нелегко было оторвать от детей, впрочем, так же как и их от нее, а молоко, которого у нее было сверх меры, она проливала на ходу. На этом молоке она замешивала нам тесто для пирожных, поила им дядиных щенков, оставшихся без матери, но молоко неиссякаемо приливало к ее груди и текло, как время, а дядя говорил, что молока у тети больше, чем времени. И это было точно. Она всегда долго раскачивалась, прежде чем взяться за какое-то дело, и так же медленно собиралась, чтобы закончить его. Она причитала, что сыр дороже земли, по пятницам солила розы и варила фасоль с мятой на крапиве. Кости у нее потрескивали, словно искры, вылетавшие из костра; она считала, что к хлебу нехорошо поворачиваться спиной, ее волосы, ломкие, словно стеклянные, наполняли постель мельчайшими осколками. Ее комнаты были набиты допотопной хромоногой мебелью. Она испытывала отвращение к любым новым, непроверенным вещам, и приходилось прятать ее рваные туфли или прогоревшие фартуки, чтобы вынудить ее начать носить новые. Ее страх перед новыми женскими вещами мог сравниться только со страхом перед тем, как бы ее старые, уже помеченные телом вещи не оказались выброшенными и тем самым изъятыми из ее жизни. По тем же причинам она с трудом справлялась с собственным телом и волосами. Она оберегала их от любых перемен и превращений, она никогда не меняла прическу. Болтали, что когда-то давно, в девичестве, она подкрашивала грудь, так же как сейчас подкрашивает глаза, и сходила с ума по дяде, который всякий раз, когда они разводились, говорил ей:

– Сиськи под мышки – и отправляйся на все четыре стороны!

Ее тело и волосы, ее грудь и белье требовали такого ухода и все больших усилий и времени, что, служа им, она буквально валилась с ног, доводила себя до изнеможения, вставая на самой заре, но не успевала дать им такой уход и поддержать их в таком состоянии, как ей казалось нужным, и она умирала от страха, что ее похоронят непричесанной. Она любила рассказывать, что носит на голове боль в форме короны с крупным тяжелым камнем на левой стороне над виском. И ее манера держать свою красивую мужскую голову словно подтверждала, что она действительно всегда носит эту невидимую корону. Корону боли.

– Неужели это ты? – сказала она мне, едва мы вошли в дом в тот вечер, и я почувствовал, что под ее взглядом мое лицо болезненно изменилось, теряя те черты, которые она помнила, чтобы превратиться в мое нынешнее лицо. Было страшно так стремительно постареть под чужим взглядом.

В тот вечер я лежал в кровати, тишины, бурля, текли через ночь комнаты, они, как быстрые, огромные воды, проносились под стульями, словно под мостами, ударяли в зеркало и сталкивались там с тишинами-сестрами, несущимися из зеркала сюда, в комнату. Непроходимые, возможно даже заразные, тишины, которые еще только предстояло изучить, опьяняли кошку, и глаза ее меняли цвет с каждым ударом, отвечая на каждую волну тишины, пена от которой собиралась в углах комнаты, и потом, утром, тетя, ругаясь, выметала ее вместе с пылью и песком. Я ощущал, как у меня иногда от этой тишины глохнут уши, и глухота спускалась по моей руке до самых пальцев, так что я мог поднять ею стакан со стола. Я хорошо знал эти быстрые тишины – тишины этого дома, потому что в каждом доме своя тишина. Кроме того, дом в Караджорджеве был наполнен мелкими и глубокими зеркалами, и было известно, что у вторых досягаемость больше, чем у первых. Одно из них, я это хорошо помню, было настоящим чемпионом. Это зеркало с самой дальней сферой действия мы с моими двоюродными сестрами Анами уносили иногда на хутор и с его помощью тайком ловили самые невероятные вещи, такие, которые невооруженным глазом никогда не увидишь, например, горы, которые маршируют, или, например, как-то раз поймали даже август, переодетый октябрем. Двоюродные сестры носили очень длинные панталоны, обшитые сверху и снизу кружевами, и летом эти кружева можно было увидеть под мышками сквозь прорези их платьев без рукавов и на груди, где они выглядывали через вырез, здесь они были обгрызены. На этом месте, под подбородком, девочки время от времени украдкой хватали их зубами и, закинув голову назад, с закрытыми глазами подтягивали панталоны. Это, похоже, доставляло им огромное удовольствие. Они научили меня, что место укуса комара лучше чесать не рукой, а струей горячей воды. Еще, однажды зимой, они показали мне в сарае, где хранились бочки, одну, в которой было посажено дерево. Небольшое деревце, про которое они сказали, что мы с ним ровесники и тезки, потому что нас одновременно крестил поп Благое. Я подошел к растению и осмотрел его. Часть веток была в цвету, на других висели зрелые грецкие орехи, с третьих опадали листья, и некоторые, похожие на перья, уже валялись вокруг бочонка, четвертые ветки, те, что были ближе всего к дверям сарая, откуда тянуло холодом, были скованы льдом и напоминали стеклянные кровеносные сосуды…

Вечером, раздеваясь, я попытался обнаружить четыре времени года на себе самом.

От двоюродных сестер я узнал, что время, как мяту, можно посадить и оно прорастет. В уголке подоконника у меня был небольшой питомник с таким искусственным временем, я ухаживал за ним, удобрял и поливал его. В этой маленькой оранжерее прорастали крошечные святые с бородами, вшивели воскресенья, смердели синие вторники, Рождество пустило росток в углу, две недозрелые пятницы-близнецы трепетали на одном черешке, а миниатюрные субботы многозначительно намекали на праздник, заранее распространяя запах гиацинтов и айвы. В этом саду я почувствовал, что одни мысли у меня текут быстро, а другие вытекают медленно, неравномерно заполняя мою растущую старость. В этой молодой старости быстрых мыслей было больше, чем медленных. И я, самостоятельно извлекая из этого урок, принялся составлять и сложил-таки вместе хранившиеся в памяти вялые обрывки дядиных фраз, которые запоминал в последние недели, и понял, что, соединенные, они представляют собой нечто вроде стишка:

Стоит в месяце появиться «рци»,
Чистое вино пьют жители Греции,
Если ж месяц без «рци», другой,
Вино они пьют, разбавив водой.

Вечером, в пустом доме, уложив меня в кровать, дядя с тетей иногда садились играть в карты. Мне понадобилось много времени, чтобы понять, что это была за игра. Они играли на своих дочерей, выигрывая и проигрывая в карты собственных, ими же рожденных или даже нерожденных детей. Если выигрывала тетя, она победоносно оставалась спать одна в гостиной, где стояла и моя кровать. Если же выигрывал дядя, он уводил ее в свою просторную постель в спальне, из которой маленькое окно выходило в гостиную, где спал я. Благодаря этому я узнал, что не следует начинать делать детей до наступления темноты и что их появление, во всяком случае в доме моего дяди, связано с тузом и дамой, валетом и большой десяткой, – эти названия время от времени звучали в решающие моменты игры. Я исподтишка показывал двоюродным сестрам украденных из колоды даму или туза, но они довольно равнодушно смотрели на эти картинки, сыгравшие ключевую роль в их появлении на свет, и ничего не понимали. Иногда после выигранной партии, когда было уже ясно, что этой ночью дядя поведет тетю к себе в кровать, игралась еще одна партия на что-то, за что в случае проигрыша тетя должна была расплачиваться дальнейшими, все более непонятными уступками, теперь уже в постели. И тогда через соединявшее наши комнаты окно я слышал приглушенный разговор и смех.

– Я словно не на тебе женился, а на твоем отце, Миливое, – говорил дядя.

– А я, – отвечала тетя, – как будто вышла за твою покойную мать Лепшу, а теперь после нее вдовцом осталась…

В другой раз, прежде чем отправиться к дяде, тетя подходила на цыпочках проверить, сплю ли я, а я слышал, как, закрывая окно между комнатами, она говорила:

– Глазки сомкни, скорее засни…

Слушая неясные голоса из их комнаты, я выбирал мысли, которые, подобно улицы, могли бы самой короткой дорогой привести меня ко сну. Но, найдя эти улицы, тут же начинал плутать и все больше удалялся от желанной тихой гавани. Я раздумывал над тем, что дядя мог бы быть тем самым «высоким пальцем», королем, а «королеве» – тете – соответствовал безымянный палец, свинарь находился на месте большого пальца – «актера» или пальца-арлекина, я же должен был быть «мизинцем», их «приемным сыном». Недоставало только одного – «путеказа».

«Кто бы это мог быть? – ломал я голову, погружаясь в сон. – Кто этот „путеказ"?»

… Но тут обычно подавал голос дядя. Ему никак не удавалось догнать и схватить свой своенравный и запыхавшийся сон, который наподобие поезда на стрелках где-то впереди то и дело перемещался с одного пути на другой, стараясь избежать действительности и следуя вдоль извилистой границы между явью и сном. Затем дядин взбеленившийся сон вдруг успокаивался и полным ходом нес его по правильному пути, по обе стороны которого на расстоянии выстрела не было ничего даже отдаленно напоминающего явь. Иногда на его пути попадались – я определял это по звуку – редкие станции, где все затихало, на время исчезала необходимость в звуковых сигналах, и дядя-поезд несомненно останавливался, чтобы принять новых пассажиров. Это, однако, продолжалось совсем недолго, и после этого шумное и все более ускорявшееся путешествие продолжалось, грозя закончиться в его волосатой груди столь глубоко, что возвращение окажется невозможным. Но тогда, перед рассветом, его сон становился мелким, утомившись большими скоростями и стремительно преодоленным пространством. Дядя в мгновение ока порывал с ним, вставал, подходил к окну, открыв деревянную раму, высовывался наружу и начинал изрыгать огромные количества непереваренных и как попало окрашенных снов. Или, бывало, в его сон, как камешек, залетал теткин сон и разбивал его вдребезги. В таких случаях он всегда, словно раненый, начинал ворочаться в постели, а тетя вставала, и в зеркале через рассвет было видно, как она моет волосы вином, а потом этими волосами вытирает себе грудь, как берет ложкой шалфейный мед, подходит к моей кровати, дает мне мед, а потом грудь, чтобы я сосал…

2.

Однажды утром дядя сказал:

– Погода хорошая, кто умер, сегодня покаялся. Пошли на охоту.

– На кого будем охотиться? – спросил я, когда мы вышли, но дядя ничего не ответил. Только показал мне приспособления, с помощью которых ставят капкан. Он сиял, предвкушая добычу.

«Если бы и я умел ненавидеть, – думал я, шагая за ним, – если бы я не уставал от ненависти так страшно. Взять хоть моих двоюродных сестер, от отца им досталась естественная потребность ненавидеть. Они, как большие кошки, всегда должны обо что-то точить свои когти. А мне приходится каждое утро снова и снова учиться ненависти и вспоминать, кого именно я должен ненавидеть и в какой последовательности».

– А мы скоро кого-нибудь найдем? – спросил я дядю, видя, что он и не думает снимать с плеча ружье. Дядя только улыбнулся себе в трубку и сказал:

– День – штука неподъемная – пока сам не шевельнется, его с места не сдвинешь!

Мы сидели опутанные, как паутиной, сетью солнечных лучей и чувствовали, как она вместе с нами вздрагивает в такт ударам паучьего сердца. Полдень был похож на пойманную бабочку – тронешь ее, и она больше не может лететь, падает и бессильно трепещет крыльями, изнанка которых стыдливо приоткрывает ночь. Дядя курил молча, но его трубка пыхтела, выговаривала странные слова, выписывая в воздухе буквы. Эта трубка что-то сообщала, звала на помощь или в гости, а когда однажды у дяди оказалась связка македонского табака, трубка взялась тайно от него давать уроки македонского языка, на котором сам дядя не смог бы связать и двух слов.

– Запомни, – сказал он, – в лесу нужно думать ушами. И нужно уметь молчать. А ты кричишь так, словно у тебя в голове совсем пусто. Шум произвести нетрудно. А вот попробуй произведи тишину!

Потом поднялся и встал возле дерева помочиться. Я присоединился к нему.

– Зверь и человек мочатся по-разному, – сказал он. – Человек может помочиться на огонь, а волк не посмеет. И если увидишь когда-нибудь, что все-таки мочится, знай – это не волк, а человек в волчьей шкуре…

Дядина маслянистая моча переливалась всеми цветами радуги; я было хотел посмотреть, похожа ли и моя дуга на радугу, но стоило мне перевести на нее взгляд, как струя иссякла, и я так и не узнал, в состоянии ли мочиться радугой. Только сумел отряхнуться так сильно, что брызги попали мне на губы.

В тот день, обходя западни, дядя находил в них только мелкую дичь, которую совершенно равнодушно отпускал на свободу. Он ждал другой, более крупной добычи. Я заметил, что рядом с одним капканом у него всегда стоял и второй, гораздо лучше замаскированный.

– Зачем нужен второй капкан? – спросил я.

– Второй на людей. На воров. Кто-то крадет из моих ловушек добычу…

И тут дядя сделал что-то такое, отчего капкан с ужасающей силой захлопнулся, щелкнув своими стальными зубами.

– Если бы существовал хотя бы ад, если бы хоть в ад можно было верить, я бы не беспокоился, – произнес он задумчиво, и я заметил, что трубка помогает ему думать. Вскоре мы снова остановились, и он разжег костер, потому что начало смеркаться. Налетел порыв северного ветра, и дядя произнес о ветре одну из своих невразумительных фраз:

– Со вчерашнего дня у него ни крошки во рту не было…

Помещенные в уравнения с двумя и тремя неизвестными, звезды мерцали над нами, выполняя свои алгебраические действия вычитания и сложения света. Они взаимно уничто-

жались в разных концах неба, перемножались и делились, засыпая землю тем, что получалось в остатке, этими неизмеримыми количествами звездных осколков, заранее отбрасывая неправильные результаты во мрак, который и без того был уже переполнен, так что ошибки переливались через края ночи и доставались в наследство следующему дню… Дядя схватил меня за руку, подавая знак молчать. По другую сторону костра из тьмы сверкали глаза. Мы сидели не шелохнувшись, и тут от мрака отделился черный силуэт. Это был волк с тремя лапами. Четвертая была отгрызена. Он поднял заднюю лапу и помочился на костер, зашипели угли. В тот же миг дядя, взревев, вскочил и метнулся в темноту, таща меня за собой. Сделав несколько шагов, он, к моему ужасу, бросился на землю и принялся, как зверь, бегать на четвереньках, а потом замер лежа. Только услышав, как он пьет, я понял, что мы на берегу реки, которая лежит перед нами неподвижная и немая, как пашня. Тут мы немного успокоились, и дядя встал.

– Это был волк или волчица? – спросил я.

– Кто его знает! Душа не имеет пола, пол есть только у тела.

– А что у него с лапой?

– Лапу он сам себе отгрыз. Когда волк попадает в капкан и чувствует, что ему не освободиться, он отгрызает ту часть тела, которую защемило, и так спасается. Жертвует дальней истиной ради истины более близкой…

И тут я почувствовал, что страх еще больше распалил в дяде ненависть. Он быстрым шагом пустился дальше, потом вдруг резко остановился в зарослях кустарника и надавил мне пальцем на темя, чтобы я был начеку. Слышалось, как кто-то скулит и стонет. Перед нами во мраке лежало что-то крупное и тяжелое, судя по дыханию. Дядя стащил с плеча ружье, мы перешли канаву и оказались на освещенном луной месте.

– Будь осторожен, сейчас молодой месяц, – заметил он, не стараясь больше оставаться незаметным, – и какого бы зверя мы сейчас ни обнаружили в капкане, это будет волк.

Сделав еще два-три шага, мы почуяли какой-то странный запах и увидели, что под деревом сидит и скулит человек. Обеими руками он держался за ногу, зажатую капканом.

– Открывай! – взвизгнул он, увидев дядю.

Однако, вместо того чтобы освободить человека из капкана, дядя принялся спокойно собирать хворост для костра. Потом высек искру и начал разжигать перед незнакомцем огонь.

– Сначала надо немного согреться. Что, надоела свинина, решил дичью побаловаться?

Человек молчал и тихо стонал, а когда огонь разгорелся сильнее, я увидел, что перед нами свинарь. Он сидел по самые уши в бороде, а пот струился у него по шее извилистыми струйками. На плече у него висел рог…

– Отпусти меня, Мило, не валяй дурака… – снова подал он голос.

– Сначала расскажи историю. Люди говорят, ты умеешь замечательные истории рассказывать. Мы бы послушали…

– Каждый имеет право на такую историю, на какое расстояние долетит его пуля. Кто дальше выстрелит, у того и история длиннее. А я в таком виде далеко ли смогу достать?

Но дядя был неумолим.

– Рассказывай, тогда отпущу. Вот этот юный господин закажет тебе историю, такую, какую пожелает. Не так ли? – обратился дядя ко мне и вытащил из-за пояса трубку. Раскурил ее и приготовился молча слушать. Вместо него опять говорила трубка, произнося странное слово «тантук», про которое я позже узнал, что им дразнят барана, показывая ему, чтобы разозлить, растопыренную ладонь. Увидев, что дядя и не собирается освобождать человека из капкана, я чуть не расплакался, но, так как это могло бы только затянуть мучения пленника, я выпалил первое, что пришло в голову:

– Расскажи, как Колумб открыл Америку…

Свинарь вздохнул и сказал:

– Дунай берет свое начало в раю, а впадает в ад. Мы, господин, находимся посередине. Отсюда до рая нужно плыть против течения, и уж докуда доплывешь, а до ада добраться труда не надо – достаточно просто отдаться течению…

При этих словах дядя вытащил фляжку с ракией и протянул ее мне. Я шагнул в шар смрада, который окружал свинаря, и подал фляжку ему. Он отпил и тут же с понятной расторопностью начал.

ПОВЕСТЬ О КОЛУМБЕ

Когда Колумб поехал открывать Америку, он, как рассказывают, сделал себе необычную прическу. Волосы под шлемом сплел в узлы, похожие на те, которыми лодочники и рыбаки пользуются иногда в качестве секретного языка. Говорят, что в узлах и переплетениях прядей его волос было записано нечто важное, нечто такое, что он скрывал от других. Его взгляд в это время уже в двух местах был разорван, и он видел далеко не все из того, на что смотрел, но в его указательном пальце, свившись, словно змеи, лежали все будущие пути его шхуны. Ему оставалось только вытянуть палец и показать шхуне, в каком направлении эти пути будут разматываться. Он говорил:

– Солнечные дни любому понятны, даже дураку, но непогоду и бурю понимают только избранные…

На борт он взял с собой икону-календарь, подарок одного грека, мореплавателя и художника. На ней были изображены все дни года предстоящего плавания, и каждый из этих дней был обозначен своим святым. Таким образом, неделям и месяцам плавания на иконе соответствовала череда святых, и Колумб знал, кому из этих святых в какой день нужно молиться, прося о хорошем море. Мелом он особо отметил одного святого с синими глазами и без бороды, находившегося примерно в том месте календаря, где открытием Америки на неизведанной суше мог бы закончиться его путь, и поднял паруса. Он смотрел, как вода за кормой выкраивает берег, плакал в тарелку с супом и ловил на лету собственные слезы, будто это были мухи.

А потом шхуной завладели волны и ветры. Налетели бури, белые и черные, красные и синие, зеленые и желтые. От них люди на борту судна чувствовали себя несчастными даже во сне. Их нрав раскачивался в такт качке шхуны, их желчь изливалась в только что съеденные обеды и ужины из рыбы и окрашивала глаза в зеленое всякий раз, как только наклонялась мачта. Ногти на их пальцах стали острыми, зубы заросли кожей как пленкой, вдоль позвоночников сквозь тельняшки проросли колючки, зевали они ушами и по вечерам нередко складывали свои ступни крепко-накрепко, как во время молитвы, перекрещивая пальцы ног. Люди постепенно превращались в рыб. И только ему одному удавалось противостоять этому вывернутому небу, полному воды. Они видели его редко, некоторые никогда, по праздникам пили вино, называвшееся «вино одной свечи», потому что им можно было напиться еще раньше, чем сгорит свеча, и все чаще звучали слова, что Колумба надо убить, развернуть шхуну и вернуться домой, пока еще не поздно. Но уничтожить его – и это все знали – было нельзя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.